

**Борис Чичибабин**  
**Прямая речь**

**1946–1950**

**«Кончусь, останусь жив ли...»**

Кончусь, останусь жив ли, —  
чем зарастет провал?  
В Игоревом Путивле  
выгорела трава.

Школьные коридоры —  
тихие, не звенят...

Красные помидоры  
кушайте без меня.

Как я дожил до прозы  
с горькою головой?  
Вечером на допросы  
водит меня конвой.

Лестницы, коридоры,  
хитрые письма...  
Красные помидоры  
кушайте без меня.

1946

## **Махорка**

Меняю хлеб на горькую затяжку,  
родимый дым приснился и запах.  
И жить легко, и пропадать нетяжко  
с курящейся сигаркою в зубах.

Я знал давно, задумчивый и зоркий,  
что неспроста, простужен и сердит,  
и в корешках, и в листиках махорки  
мохнатый дьявол жметя и сидит.

А здесь, среди чахоточного быта,  
где холод лют, а хижины мокры,  
все искушенья жизни позабытой  
для нас остались в пригоршне махры.

Горсть табаку, газетная полоска —  
какое счастье проще и полней?  
И вдруг во рту погаснет папироска,  
и заскучает воля обо мне.

Один их тех, что «ну давай покурим»,  
сболтнет, печаль надеждой осквернив,  
что у ворот задумавшихся тюрем  
нам остаются рады и верны.

А мне и так не жалко и не горько.  
Я не хочу нечаянных порук.  
Дымись дотла, душа моя махорка,  
мой дорогой и ядовитый друг.

1946

## **Еврейскому народу**

Был бы я моложе — не такая б жалость:  
не на брачном ложе наша кровь смешалась.

Завтракал ты славой, ужинал бедою,  
слезной и кровавой запивал водою.

«Славу запретите, отнимите кровлю», —  
сказано при Тите пламенем и кровью.

Отлучилось семя от родного лона.  
Помутилось племя ветхого Сиона.

Оборвались корни, облетели кроны, —  
муки гетто, коль не казни да погромы.

Не с того ли Ротшильд, молодой и лютый,  
лихо заворочал золотой валютой?

Застелила вьюга пеленою хрусткой  
комиссаров Духа — цвет Коммуны Русской.

Ничего, что нету надо лбами нимбов, —  
всех родней поэту те, кто здесь гоним был.

И не в худший день нам под стекло попала  
Чаплина с Эйнштейном солнечная пара...

Не родись я Русью, не зовись я Борькой,  
не водись я с грустью золотой и горькой,

не ночуй в канавах, счастьем обуюнный,

не войди я навек частью безымянной

в русские трясины, в пажити и в реки, —  
я б хотел быть сыном матери-еврейки.

1946

## Смутное время

По деревням ходят деды,  
просят медные гроши.  
С полуночи лезут шведы,  
с юга — шпыни да шиши.

А в колосьях преют зерна,  
пахнет кладбищем земля.  
Поросли травой черной  
беспризорные поля.

На дорогах стынут трупы.  
Пропадает богатырь.  
В очарованные трубы  
Трубит матушка Сибирь.

На Литве звенят гитары.  
Тула точит топоры.  
На Дону живут татары.

На Москве сидят воры.

Льнет к полячке русский рыцарь.

Захмелела голова.

На словах ты мастерица,  
вот на деле какова?..

Не кричит ночами петел,  
не румянится заря.

Человечий пышный пепел  
гости возят за моря...

Знать, с великого похмелья  
завязалась канитель:

то ли плаха, то ли келья,  
то ли брачная постель.

То ли к завтрему, быть может,  
воцарится новый тать...

И никто нам не поможет.

И не надо помогать.

*1947*

## Битва

В ночном, горячем, спутанном лесу,  
где хмурый хмель, смола и паутина,  
вбирая в ноздри беглую красу,  
летят самцы на брачный поединок.

И вот, чертя смертельные круги,  
хрипя и пенясь чувственной бурей,  
рога в рога ударятся враги,  
и дрогнет мир, обрызган кровью бурой.

И будет битва, яростью равна,  
шатать стволы, гореть в огромных ранах.  
И будет ждать, покорная, она,  
дрожа душой за одного из равных...

В поэзии, как в свадебном лесу,  
но только тех, кто цельностью означен,  
земные страсти весело несут  
в большую жизнь — к паденьям и удачам.

Ну, вот и я сквозь заросли искусств  
несусь по строфам шумным и росистым  
на милый зов, на роковой искус —  
с великолепным недругом сразиться.

1951–1955

## Родной язык

1

Дымом Севера овит,  
не знаток я чуждых грамот.  
То ли дело — в уши грянет  
наш певучий алфавит.  
В нем шептать лесным соблазнам,  
терпким рекам рокотать.  
Я свечусь, как благодать,  
каждой буковкой обласкан  
на родном языке.

У меня — такой уклон:  
я на юге — россиянин,  
а под северным сияньем  
сразу делаюсь хохлом.  
Но в отлучке или дома,  
слышь, поют издалека  
для меня, для дурака,  
трубы, звезды и солома  
на родном языке?

Чуть заре зарозоветь,  
я, смеясь, с окошка свешусь



и вдохну земную свежесть —  
расцветающий рассвет.  
Люди, здравствуйте! И птицы!  
И машины! И леса!  
И заводов корпуса!  
И заветные страницы  
на родном языке.

## 2

Слаще снящихся музык,  
гулче воздуха над лугом,  
с детской зыбки был мне другом —  
жизнь моя — родной язык.

Где мы с ним ни ночевали,  
где ни перли напрямик!  
Он к ушам моим приник  
на горячем сеновале.

То смолист, а то медов,  
то буйн, то нежным самым  
растекался по лесам он,  
пел на тысячу ладов.

Звонкий дух земли родимой,  
богатырь и балагур!

А солдатский перекур!  
А уральская рябина!..

Не сычи и не картавь,  
перекрикивай лавины,  
о ветрами полевыми  
опаленная гортань!..

Сторонюсь людей ученых,  
мне простые по душе.  
В нашем нижнем этаже —  
общезитие девчонок.

Ох и бойкий же народ,  
эти чертовы простушки!  
Заведут свои частушки —  
кожу дрожью продерет.

Я с душою захромавшей  
рад до счастья подстеречь  
их непуганую речь —  
шепот солнышка с ромашкой.

Милый, дерзкий, как и встарь,  
мой смеющийся, открытый,  
розовеющий от прыти,  
расцелованный словарь...

Походил я по России,  
понаслышался чудес.  
Это — с детства, это — здесь  
песни душу мне пронзили.

Полный смеха и любви,  
поработав до устатку,  
ставлю вольную палатку,  
спору с добрыми людьми.

Так живу, веселый путник,  
простодушный ветеран,  
и со мной по вечерам  
говорят Толстой и Пушкин  
на родном языке.

*1951*

## **Дождик**

День за днем жара такая все —  
задыхайся и казись.

Я и ждать уже закаялся.  
Вдруг откуда ни возьмись

с неба сахарными каплями  
брызнул, добрый на почин,

на неполитые яблони,  
огороды и бахчи.

Разошлась погодка знатная,  
спохмела тряхнув мошной,  
и заладил суток на двое  
теплый, дробный, обложной.

Словно кто его просеивал  
и отрушивал с решет.  
Наблюдать во всей красе его  
было людям хорошо.

Стали дали все позатканы,  
и, от счастья просияв,  
каждый видел: над посадками —  
светлых капель кисея.

Не нарадуюсь на дождик.  
Капай, лейся, бормочи!  
Хочешь — пей его с ладошек,  
хочешь — голову мочи.

Миллион прозрачных радуг,  
хмурый праздник озарив,  
расцветает между грядок  
и пускает пузыри.

Нивы, пастбища, леса ли  
стали рады, что мокры,  
в теплых лужах заплясали  
скоморохи-комары.

Лепестки раскрыло сердце,  
вышло солнце на лужок —  
и поет, как в дальнем детстве,  
милой родины рожок.

1954

### **«И нам, мечтателям, дано...»**

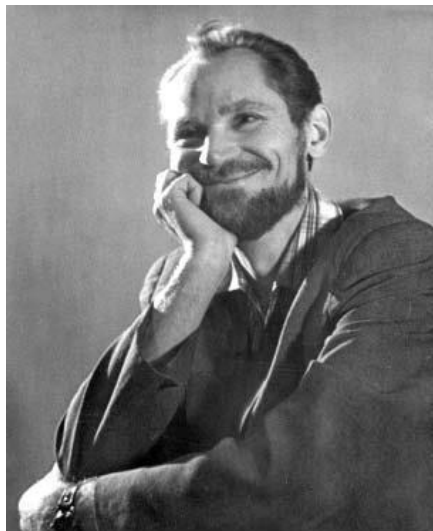
И нам, мечтателям, дано,  
на склоне лет в иное канув,  
перебродившее вино  
тянуть из солнечных стаканов,  
в объятьях дружеских стихий  
служить мечте неугасимой,  
ценить старинные стихи  
и нянчить собственного сына.  
И над росистой травой,  
между редисок и фасолей,  
звенеть прозрачно строфой,  
наивной, мудрой и веселой.

1952

## Яблоня

Чем ты пахнешь, яблоня —  
золотые волосы?  
Дождевыми каплями,  
тишиною по лесу,  
снегом нарастающим,  
чем-то милым сызмала,  
дорогим, нечаянным,  
так, что сердце стиснуло,  
небесами осени,  
тополями в рубище,  
теплыми колосьями  
на ладони любящей.

*1954*



Борис Чичибабин. 1963 г.

**1957–1960**

**«Уже картошка выкопана...»**

Уже картошка выкопана,  
и, чуда не суля,  
в холодных зорях выкупана  
промокшая земля.

Шуршит тропинка плюшевая:

весь сад от листьев рыж.  
А ветер, гнезда струшивая,  
скрежещет жестью крыш.

Крепки под утро заморозки,  
под вечер сух снежок.  
Зато глаза мои резки  
и дышится свежо.

И тишина, и ясность...  
Ну, словом, чем не рай?  
Кому-нибудь и я снюсь  
в такие вечера.

*1957*

## **Клянусь на знамени веселом**

Однако радоваться рано —  
и пусть орет иной оракул,  
что не болеть зажившим ранам,  
что не вернуться злым оравам,  
что труп врага уже не знамя,  
что я рискую быть отсталым,  
пусть он орет, — а я-то знаю:  
не умер Сталин.



Как будто дело все в убитых,  
в безвестно канувших на Север, —  
а разве веку не в убыток  
то зло, что он в сердцах посеял?  
Пока есть бедность и богатство,  
пока мы лгать не перестанем  
и не отучимся бояться, —  
не умер Сталин.

Пока во лжи неукротимы  
сидят холеные, как ханы,  
антисемитские кретины  
и государственные хамы,  
покуда взяточник заносчив  
и волокитчик беспечален,  
пока добычи ждет доносчик, —  
не умер Сталин.

И не по старой ли привычке  
невежды стали наготове —  
навешать всяческие лычки  
на свежее и молодое?  
У славы путь неодинаков.  
Пока на радость сытым стаям  
подонки травят Пастернаков, —  
не умер Сталин.

А в нас самих, труслив и хищен,

не дух ли сталинский таится,  
когда мы истины не ищем,  
а только нового боимся?  
Я на неправду чертом ринусь,  
не уступлю в бою со старым,  
но как тут быть, когда внутри нас  
не умер Сталин?

Клянусь на знамени веселом  
сражаться праведно и честно,  
что будет путь мой крут и солон,  
пока исчадь не исчезло,  
что не сверну, и не покаюсь,  
и не скажусь в бою усталым,  
пока дышу я и покамест  
не умер Сталин!

1959

### **«До гроба страсти не избуду...»**

До гроба страсти не избуду.  
В края чужие не поеду.  
Я не был сроду и не буду,  
каким пристало быть поэту.  
Не в игрищах литературных,  
не на пирах, не в дачных рощах —  
мой дух возвращивался в тюрьмах

этапных, следственных и прочих.

И все-таки я был поэтом.

Я был одно с народом русским.  
Я с ним ютился по баракам,  
леса валил, подсолнух лускал,  
каналы рыл и правду брякал.  
На брюхе ползал по-пластунски  
солдатом части минометной.  
И в мире не было простушки  
в меня влюбиться мимолетно.

И все-таки я был поэтом.

Мне жизнь дарила жар и кашель,  
а чаще сам я был не шелков,  
когда давился пшенной кашей  
или махал пустой кошелкой.  
Поэты прославляли вольность,  
а я с неволей не расстанусь,  
а у меня вылезит волос  
и пять зубов во рту осталось.

И все-таки я был поэтом,  
И все-таки я есмь поэт...

Влюбленный в черные деревья

да в свет восторгов незаконных,  
я не внушал к себе доверья  
издателей и незнакомок.

Я был простой конторской крысой,  
знакомой всем грехам и бедам,  
водяру дул, с вожжами грызся,  
тишком за девочками бегал.

И все-таки я был поэтом,  
сто тысяч раз я был поэтом,  
я был взыправдашним поэтом  
и подыхаю как поэт.

1960

## **«Поэт — что малое дитя...»**

Поэт — что малое дитя.  
Он верит женщинам и соснам,  
и стих, написанный шутя,  
как жизнь, священ и неосознан.

То гроыхает, как пророк,  
а то дурачится, как клоун.  
Бог весть, зачем и для кого он,  
пойдет ли будущему впрок.  
Как сон, от быта отрешен,  
и кто прочтет и чем навеян?

У древней тайны вдохновенья  
напрасно спрашивать резон.

Но перед тем как сесть за стол  
и прежде чем стихам начаться,  
я твердо ведаю, за что  
меня не жалует начальство.

Я б не сложил и пары слов,  
когда б судьбы мирской горнило  
моих висков не опалило,  
души моей не потрясло.

*1960*

## **1961–1965**

### **«Когда весь жар, весь холод был изведен...»**

Когда весь жар, весь холод был изведен,  
и я не ждал, не помнил ничего,  
лишь ты одна коснулась звонким светом  
моих дорог и мрака моего.

В чужой огонь шагнула без опаски  
и принесла мне пряные дары.  
С тех пор иду за песнями запястий,

где все слова значимы и добры.

Моей пустыни холод соловьиный,  
и вечный жар обветренных могил,  
и небо пусть опустятся с повинной  
к твоим ногам, прохладным и нагим.

Побудь еще раз в россыпи сирени,  
чтоб темный луч упал на сарафан,  
и чтоб глаза от радости сырели,  
и шмель звенел, и хмель озоровал.

На свете нет весны неизносимой:  
в палящий зной поляжет, порыжев,  
умрут стихи, осыплются осины,  
а мы с тобой навеки в барыше.

Кто, как не ты, тоску мою утешит,  
когда, листву мешая и шумя,  
щемящий ветер борозды расчешет  
и затрещит роса, как чешуя?

Я не замерзну в холоде декабрьском  
и не состарюсь в темном терему,  
всем гулом сердца, всем моим дикарством  
влюбленно верен свету твоему.

## Белые кувшинки

Что за беда, что ты продрог и вымок?  
Средь мошкары, лягушечьих ужимок  
протри глаза и в прелести омой,  
нет ничего прекраснее кувшинок,  
плавучих, белых, блещущих кувшинок.  
Они — как символ лирики самой.

Свежи, чисты, застенчиво-волшебны,  
для всех, кто любит, чашами стоят.  
А там, на дне, — не думали уже б мы, —  
там смрадный мрак, пиявок черных яд.

На душном дне рождается краса их  
для всех, а не для избранных натур.  
Как ждет всю жизнь поэзию прозаик,  
кувшинки ждут, вкушая темноту.

О, как горюют, царственные цацы,  
как ужас им дыханье заволок,  
в какой тоске сподыспода стучатся  
стеблями рук в стеклянный потолок!

Из черноты, пузырьчатой и вязкой,  
из тьмы и тины, женственно-белы,

восходят ввысь над холодом и ряской.  
И звезды пьют из белой пиалы.

1961

## Крымские прогулки

Колонизаторам — крышка!  
Что языки чесать?

Перед землю крымской  
совесть моя чиста.  
Крупные виноградины...  
Дует с вершин свежо.

Я никого не грабил.  
Я ничего не жег.  
Плевать я хотел на тебя, Ливадия,  
и в памяти плебейской  
не станет вырисовываться  
дворцами с арабесками  
Алупка воронцовская.  
Дубовое вино я  
тянул и помнил долго.

А более иное  
мне памятно и дорого.



Волны мой след кропили,  
плечи царапал лес.  
Улочками кривыми  
в горы дышал и лез.  
Думал о Крыме: чей ты,  
кровью чужой разбавленный?  
Чьи у тебя мечети,  
прозвища и развалины?

Проверить хотелось версийки  
приехавшему с Руси:  
чей виноград и персики  
в этих краях росли?  
Люди на пляж, я — с пляжа,  
там, у лесов и скал,  
«Где же татары?» — спрашивал,  
все я татар искал.

Шел, где паслись отары,  
желтую пыль топтал,  
«Где ж вы, — кричал, — татары?»  
Нет никаких татар.  
А жили же вот тут они  
с оскоминой о Мекке.  
Цвели деревья тутовые,  
и козочки мекали.

Не русская Ривьера,  
а древняя Орда  
жила, в Аллаха верила,  
лепила города.  
Кому-то, зная, мешая  
зарей во всю щеку,  
была сестра меньшая  
Казани и Баку.

Конюхи и кулинары,  
радуясь синеве,  
песнями пеленали  
дочек и сыновей.  
Их нищета назойливо  
наши глаза мозолила.  
Был и очаг, и зелень,  
и для ночлега кров...

Слезы глаза разъели им,  
выстыла в жилах кровь.  
Это не при Иване,  
это не при Петре:  
сами, небось, припевали:  
«Нет никого мудрей».

Стало их горе солоно.  
Брали их целыми селами,  
сколько в вагон поместится.

Шел эшелон по месяцу.  
Девочки там зачали,  
ни очага, ни сакли.  
Родина оптом, так сказать,  
отнята и подарена, —  
и на земле татарской  
ни одного татарина.

Живы, поди, не все они:  
мало ль у смерти жатв?  
Где-то на сивом Севере  
косточки их лежат.

Кто помирай, кто вешайся,  
кто с камнем на конвой, —  
в музеях краеведческих  
не вспомнят никого.  
Сидит начальство важное:  
«Дай, — думает, — повру-ка».  
Вся жизнь брехнею связана,  
как круговой порукой.

Теперь, хоть и обмолвитесь,  
хоть правду кто и вымолви, —  
чему поверит молодость?  
Все верные повымерли.

Чепухи не порите-ка.

Мы ведь все одноглавые.  
У меня — не политика.  
У меня — этнография.  
На ладони прохукав,  
спотыкаясь, где шел,  
это в здешних прогулках  
я такое нашел.

Мы все привыкли к страшному,  
на сковородках жариться.  
У нас не надо спрашивать  
ни доброты ни жалости.

Умершим — не подняться,  
не добудиться умерших...  
но чтоб целую нацию —  
это ж надо додуматься...

А монументы Сталина,  
что гнул под ними спину ты,  
как стали раз поставлены,  
так и стоят нескинуты.

А новые крадутся,  
честь растеряв,  
к власти и к радости  
через тела.

А вражьи уши радуя,  
чтоб было что писать,  
врет без запинки радио,  
тщательно врет печать.  
Когда ж ты родишься,  
в огне трепеща,  
новый Радищев —  
гнев и печаль?

1961

## «Во мне проснулось сердце эллина...»

Во мне проснулось сердце эллина.  
Я вижу сосны, жаб, ежа  
и радуюсь, что роща зелена  
и что вода в пруду свежа.

Не называйте неудачником.  
Я всем удачам предпочел  
сбежать с дорожным чемоданчиком  
в страну травы, в отчизну пчел.

Люблю мальчишек, закопавшихся  
в песок на теплом берегу,  
и — каюсь — каждую купальщицу  
в нескромных взорах берегу.

Благословенны дни безделия  
с подругой доброй средь дубрав,  
когда мы оба, как бестелые,  
лежим, весь бор в себя вобрав.

Мы ездили на хутор Коробов,  
на кручи солнца, в край лесов.  
Он весь звенел от шурких шорохов  
и соловьиных голосов.

Мы ничего с тобой не нажили,  
привыкли к всяческой беде.  
Но эти чащи были нашими,  
мы в них стояли, обалдев.

Уху варили, чушь пороли,  
ловили с лодки щук-раззяв  
и ночевали на пароме,  
травы на бревна набросав.

О, если б кто в ладонях любящих  
сумел до старости донести  
в кувшинках, в камышовых трубочках  
до дна светящийся Донец!..

Плескалась рыба, бились хвостики.  
Реки и леса красота,